

# РАССКАЗЫ

---

Л. Андреев

И. Бунин

М. Горький

В. Короленко

А. Куприн

К. Станюкович

А. Чехов

Байройт

Druck: Lorenz Ellwanger, Bayreuth

Л. Андреев, И. Бунин, М. Горький  
В. Короленко, А. Куприн, К. Станюкович,  
А. Чехов.

# РАССКАЗЫ

Б а й р о й т

---

Druck: Lorenz Ellwanger, Bayreuth

**Пособие к изучению  
образцов  
русской литературы.**

# МОЛЧАНИЕ

Л. АНДРЕЕВ

## I.

В одну лунную майскую ночь, когда пели соловьи, в кабинет к о. Игнатию вошла его жена. Лицо ее выражало страдание, и маленькая лампочка дрожала в ее руках. Подойдя к мужу, она коснулась его плеча и, всхлипнув, сказала:

— Отец, пойдём к Верочке!

Не поворачивая головы о. Игнатий поверх очков исподлобья взглянул на попадью и смотрел долго и пристально, пока она не махнула свободной рукой и не опустилась на низенький диван.

— Какие вы оба с ней... безжалостные! — выговорила она медленно, с сильным ударением на последних слогах, и доброе, пухлое лицо ее исказилось гримасой боли и ожесточения, словно на лице хотела она показать, какие это жестокие люди — муж ее и дочь.

О. Игнатий усмехнулся и встал. Закрыв книгу, он снял очки, положил их в футляр и задумался. Большая черная борода, перевитая серебряными нитями, красивым изгибом легла на его грудь и медленно подымалась при глубоком дыхании.

— Ну, пойдём! — сказал он.

Ольга Степановна быстро встала и попросила заискивающим, робким голосом:

— Только не брани ее, отец! Ты знаешь, какая она...

Комната Веры находилась в мезонине, и узенькая деревянная лестница гнулась и стонала под тяжелыми шагами о. Игнатия. Высокий и грузный, он наклонял голову, чтобы не удариться о пол верхнего этажа, и брезгливо морщился, когда белая кофточка жены слегка задевала его лицо. Он знал, что ничего не выйдет из их разговора с Верой.

— Чего это вы? — спросила Вера, поднимая одну обнаженную руку к глазам. Другая рука лежала поверх белого летнего одеяла и почти не отделялась от него, такая она была белая, прозрачная и холодная.

— Верочка . . . — начала мать, но всхлипнула и умолкла.

— Вера! — сказал отец, стараясь смягчить свой сухой и твердый голос. — Вера, скажи нам, что с тобою?

Вера молчала.

— Вера, разве мы, твоя мать и я, не заслуживаем твоего доверия? Разве мы не любим тебя? И разве есть у тебя кто-нибудь ближе нас? Скажи нам о твоем горе, и, поверь мне человеку старому и опытному, тебе будет легче. Да и нам. Посмотри на старуху-мать, как она страдает . . .

— Верочка! . . .

— И мне . . . — сухой голос дрогнул, точно в нем что переломилось: — и мне, думаешь, легко? Как будто не вижу я, что поедает тебя какое-то горе . . . а какое? И я, твой отец, не знаю его. Разве должно так быть?

Вера молчала. О. Игнатий с особенной осторожностью провел по своей бороде, словно боялся, что пальцы против воли вопьются в нее, и продолжал:

— Против моего желания поехала ты в Петербург, — разве я проклял тебя, ослушницу? Или денег тебе не давал? Или, скажешь, не ласков был я? Ну, что же молчишь? Вот он, Петербург-то твой!

О. Игнатий умолк, и ему представилось что-то большое, гранитное, страшное, полное неведомых, равнодушных людей. И там, одинокая, слабая, была его Вера, и там погубили ее. Злая ненависть к страшному и непонятному городу поднялась в душе о. Игнатия и гнев против дочери, которая молчит, упорно молчит.

— Петербург здесь ни при чем, — угрюмо сказала Вера и закрыла глаза. — А со мной ничего. Идите-ка лучше спать, поздно.

— Верочка! — простонала мать. — Дочечка, да откройся ты мне!

— Ах, мама! — нетерпеливо прервала ее Вера.

О. Игнатий сел на стул и засмеялся.

— Ну-с, так, значит, ничего? — иронически спросил он.

— Отец, — резко сказала Вера, приподнимаясь на постели: ты знаешь, что я люблю тебя и мамочку. Но . . . Ну, так, скучно мне немножко. Пройдет все это. Право, идите лучше спать, и я спать хочу. А завтра или когда там — поговорим.

О. Игнатий порывисто встал, так что стул ударился о стену, и взял жену за руку.

— Пойдем!

— Верочка . . .

— Пойдем, говорю тебе! — крикнул о. Игнатий. — Если уже она Бога забыла, так мы-то! . . . Что уже мы!

Почти насильно он вывел Ольгу Степановну, и когда они спускались по лестнице, Ольга Степановна, замедляя шаги, говорила злым шопотом:

— У — у! Это ты, поф, сделал ее такой. У тебя переняла она эту манеру. Ты и ответишь. Ах, я несчастная . . .

И она заплакала, часто моргая глазами, и не видя ступенек и так опуская ногу, словно вниз была пропасть, в которую ей хотелось бы упасть.

С этого дня о. Игнатий перестал говорить с дочерью, но она словно не замечала этого. Попрежнему она то лежала у себя в комнате, то ходила и часто-часто вытирала ладонями рук глаза, как будто они были у нея засорены. И, сдавленная двумя этими молчащими людьми, сама любившая шутку и смех попадья робела и терялась, не зная, что говорить и что делать.

Иногда Вера выходила гулять. Через неделю после разговора она вышла вечером, по обыкновению. Более не видали ее живую, так как она в этот вечер бросилась под поезд, и поезд пополам перерезал ее.

Хоронил ее сам о. Игнатий. Жены в церкви не было, так как при известии о смерти Веры ее хватил удар. У нея отнялись ноги, руки и язык, и она неподвижно лежала в полутемной комнате, пока рядом с нею, на колокольне, перезванивали колокола. Она слышала, как вышли все из церкви, как пели против их дома певчие, и старалась поднять руку, чтобы перекреститься, но рука не повиновалась; хотела сказать: „прощай, Вера!“ — но язык лежал во рту громадный и тяжелый. И поза ее была так спокойна, что если бы кто-нибудь взглянул на нее, то подумал бы, что этот человек отдыхает или спит. Только глаза ее были открыты.

В церкви на похоронах было много народу, знакомых о. Игнатия и незнакомых, и все собравшиеся жалели Веру, умершую такую ужасною смертью, и старались в движениях и голосе о. Игнатия найти признаки тяжелого горя. Они не любили о. Игнатия за то, что он был в обхождении суров и горд, ненавидел грешников и не прощал их, а сам в то же время, завистливый и жадный, пользовался всяким случаем, чтобы взять с прихожанина лишнее. И всем хотелось видеть его страдающим, сломленным и сознающим, что он виновен дважды в смерти дочери: как жестокий отец и дурной священнослужитель, не могший уберечь от греха свою же плоть. И все

пытливо смотрели на него, а он, чувствуя направленные на его спину взгляды, старался выпрямлять эту широкую и крепкую спину и думал не об умершей дочери, а о том, чтобы не уронить себя.

— Каляный поп! — сказал, кивая на него, столяр Карзенов, которому он не отдал пяти рублей за рамы. —

И так, твердый и прямой, прошел о. Игнатий до кладбища и такой же вернулся назад. И только у дверей в комнату жены спина его согнулась немного; но это могло быть и оттого, что большинство дверей были низки для его роста. Войдя со свету, он с трудом мог рассмотреть лицо жены, а когда рассмотрел, то удивился, что оно совсем спокойно, и на глазах нет слез. И не было в глазах ни гнева ни горя, — они были немы и молчали тяжело, упорно, как и все тучное, бессильное тело, вдавившееся в перину.

— Ну, что, как ты себя чувствуешь? — спросил о. Игнатий.

Но уста были немы; молчали и глаза. О. Игнатий положил руку на лоб: он был холодный и влажный, и Ольга Степановна ничем не выразила, что она ощутила прикосновение. И когда рука о. Игнатия была им снята, на него смотрели, не мигая, два серые глубокие глаза, казавшиеся почти черными от расширившихся зрачков, и в них не было ни печали ни гнева.

— Ну, я пойду к себе, — сказал о. Игнатий, которому сделалось холодно и страшно.

Он прошел в гостиную, где все было чисто прибрано, как всегда, и одетые белыми чехлами высокие кресла стояли точно мертвецы в саванах. На одном окне висела проволочная клетка, но была пуста, и дверца открыта.

— Настасья! — крикнул о. Игнатий, и голос показался ему грубым, и стало неловко, что он так громко кричит в этих тихих комнатах, тотчас после похорон дочери. — Настасья! — тише позвал он: — где канарейка?

Кухарка, плакавшая так много, что нос у нея распух и стал красный, как свекла, грубо ответила:

— Известно, где. Улетела.

— Зачем выпустила? — грозно нахмурил брови о. Игнатий.

Настасья расплакалась и, вытираясь концами ситцевого головного платка, сквозь слезы сказала:

— Душенька . . . барышнина . . . Разве можно ее держать?

И о. Игнатию показалось, что желтенькая веселая канарейка, певшая всегда с наклоненной головкой, была действительно душою Веры, и что если бы она не улетела, то нельзя

было бы сказать, что Вера умерла. И он еще больше рассердился на кухарку и крикнул:

— Вон! — и, когда Настасья не сразу попала в дверь, добавил: — дура!

## II.

Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят. Так думал о. Игнатий, когда входил в комнату жены и встречал упорный, взгляд, такой тяжелый, словно весь воздух обращался в свинец и давил на голову и спину. Так думал он, рассматривая ноты дочери, в которых запечатлелся ее голос, ее книги и ее портрет, большой, писанный красками портрет, который она привезла с собою из Петербурга. В рассматривании портрета у о. Игнатия установился известный порядок: сперва он глядел на щеку, освещенную на портрете, и представлял себе на ней царапину, которая была на мертвой щеке Веры и происхождения которой он не мог понять. И каждый раз задумывался о причинах: если бы это задел поезд, он раздробил бы всю голову, а голова мертвой Веры была совсем невредима.

Быть-может, ногой кто-нибудь задел, когда подбирали труп, или нечаянно ногтем?

Но долго думать о подробностях Вериней смерти было страшно, и о. Игнатий переходил к глазам портрета. Они были черные, красивые, с длинными ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались особенно яркими и оба глаза точно были заключены в черную, траурную рамку. Странное выражение придал им неизвестный, но талантливый художник: как будто между глазами и тем, на что они смотрели, лежала тонкая, прозрачная пленка. Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, незаметным пластом налегла летняя пыль, смягчая блеск полированного дерева. И, как ни ставил портрет о. Игнатий, глаза неотступно следили за ним, но не говорили, а молчали; и молчание это было так ясно, что его, казалось, можно было услышать. И постепенно о. Игнатий стал думать, что он слышит молчание.

Каждое утро, после обедни о. Игнатий приходил в гостиную, окидывал одним взглядом пустую клетку и всю знакомую обстановку комнаты, садился в кресло, закрывал глаза и слушал,

как молчит дом. Это было странное что-то. Клетка молчала тихо и нежно, и чувствовались в этом молчании печаль, и слезы, и далекий, умерший смех. Молчание жены, смягченное стенами, было упорно, тяжело, как свинец, и страшно, так страшно, что в самый жаркий день о. Игнатию становилось холодно. Долгим, холодным, как могила, и загадочным, как смерть, было молчание дочери. Словно самому себе было мучительно это молчание и страстно хотело перейти в слово, но что-то сильное и тупое, как машина, держало его неподвижным и вытягивало, как проволоку. И где-то, на далеком конце, проволока начинала колебаться и звенеть тихо, робко и жалобно. О. Игнатий с радостью и страхом ловил этот зарождающийся звук и, опершись руками о ручки кресел, вытянув голову вперед, ждал, когда звук подойдет к нему. Но звук обрывался и умолкал.

— Глупости! — сердито говорил о. Игнатий и поднимался с кресел, все еще прямой и высокий.

В окно он видел залитую солнцем площадь, мощеную круглыми, ровными камнями, и напротив каменную стену длинного, без окон, сарая. На углу стоял извозчик, похожий на глиняное изваяние, и непонятно было, зачем он стоит здесь, когда по целым часам не показывалось ни одного прохожего.

### III.

Вне дома о. Игнатию приходилось говорить много: с причтом и с прихожанами, при исполнении треб, и иногда с знакомыми, где он играл в преферанс; но, когда он возвращался домой, он думал, что он весь день молчал. Это происходило оттого, что ни с кем из людей о. Игнатий не мог говорить о том главном и самом для него важном, о чем он размышлял каждую ночь: отчего умерла Вера?

О. Игнатий не хотел понять, что теперь этого узнать нельзя, и думал, что узнать еще можно. Каждую ночь, — а они все теперь стали у него бессонными, — представлял он себе ту минуту, когда он и попадая в глухую полночь стояли у кровати Веры, и он просил ее: „Скажи!“ И когда в воспоминаниях он доходил до этого слова, дальнейшее представлялось ему не так, как оно было. Закрытые глаза его, сохранившие в своем мраке живую, не тускнеющую картину той ночи, видели, как Вера поднимается на своей постели, улыбается и говорит . . .

Но что она говорит? И это невысказанное слово Веры, которое должно разрешить все, казалось так близко, что если отогнуть ухо и задержать биение сердца, то вот-вот услышишь его, и в то же время так безнадежно-далеко. О. Игнатий вставал с постели, протягивал вперед сложенные руки и, потрясая ими, просил:

— Вера! . . .

И ответом ему было молчание.

Однажды вечером о. Игнатий пришел в комнату Ольги Степановны, у которой он не был уже около недели, сел у ее изголовья и, отвернувшись от упорного, тяжелого взгляда, сказал:

— Мать! Я хочу поговорить с тобою о Вере. Ты слышишь?

Глаза молчали, и о. Игнатий, возвысив голос, заговорил строго и властно, как он говорил с исповедующимися:

— Я знаю, ты мыслишь, что я был причиной Верининой смерти. Но подумай, разве я любил ее меньше, чем ты? Странно ты рассуждаешь . . . Я был строг, а разве это мешало ей делать, что она хочет? Я пренебрег достоинством отца, я смиренно согнул свою шею, когда она не побоялась моего проклятия и поехала . . . туда. А ты, — ты-то не просила ее остаться и не плакала, старая, пока я не велел замолчать? Разве я родил ее такой жестокой? Не твердил я ей о Боге, о смирении, о любви?

О. Игнатий быстро взглянул в глаза жены — и отвернулся.

— Что я мог сделать с ней, если она не хотела открыть своего горя? Приказывать — я приказывал; просить — я просил. Что же, по-твоему, я должен был стать на колени перед девочкой и плакать, как старая баба? В голове . . . откуда я знаю, что у нея в голове! жестокая, бессердечная дочь!

О. Игнатий ударил кулаком по колену.

— Любви у нее не было — вот что! Что уж про меня говорить, уж я, известно . . . тиран . . . Тебя-то она любила? Тебя-то, которая плакала . . . да унижалась?

О. Игнатий беззвучно рассмеялся.

— Лю-любила! То-то, в утешение тебе, и смерть такую выбрала. Жестокую, позорную смерть. Умерла на песке, в грязи . . . как с-собака, которую ногами в морду тыкают.

Голос о. Игнатия зазвучал тихо и хрипло.

— Стыдно мне! На улицу выйти стыдно! Из алтаря выйти стыдно! Перед Богом стыдно! Жестокая, недостойная дочь! В гробу проклясть бы тебя . . .

Когда о. Игнатий взглянул на жену, она была без чувств и

пришла в себя только через несколько часов. И когда пришла, глаза ее молчали, и нельзя было понять, помнит она, что говорил ей о. Игнатий, или нет.

В ту же ночь, — это была июльская лунная ночь, тихая, теплая и беззвучная, — о. Игнатий на цыпочках, чтобы не услышали жена и сиделка, поднялся по лестнице и вошел в комнату Веры. Окно в мевонине не открывалось с самой смерти Веры, и воздух был сухой и жаркий, с легким запахом гари от накалившейся за день железной крыши. Чем-то нежилым и заброшенным веяло от помещения, в котором так давно отсутствовал человек и где дерево стен, мебель и другие предметы издавали тонкий запах непрерывного тления. Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол и, отраженный от белых, тщательно вымытых досок, сумеречным полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной. О. Игнатий открыл окно — и в комнату широкой струей влился свежий воздух, пахнувший пылью, недалекой рекой и цветущей липой, и еле слышное доносилось хоровое пение: вероятно, катались в лодке и пели. Неслышно ступая босыми ногами, похожий на белый призрак, о. Игнатий подошел к пустой постели, подогнул колени и упал лицом вниз на подушки, обняв их, — туда, где должно было находиться Верино лицо. Он долго лежал так; песня стала громче и потом умолкла, а он все лежал, и длинные черные волосы рассыпались по плечам и постели.

Луна передвинулась, и в комнате стало темнее, когда о. Игнатий поднял голову и зашептал, вкладывая в голос всю силу долго не признаваемой любви и вслушиваясь в свои слова так, как будто слушал не он, а Вера.

— Дочь моя, Вера! Ты понимаешь, что это значит: дочь? Доченька! Сердце мое, и кровь моя, и жизнь моя. Твой старый... старенький отец, уже седой, уже слабый...

Плечи отца Игнатия задрожали, и вся грузная фигура заколыхалась. Подавляя дрожь, о. Игнатий шептал нежно, как маленькому ребенку:

— Старенький отец... просит тебя. Нет, Верочка, умоляет. Он плачет. Он никогда не плакал. Твое горе, деточка, твои страдания—они и мои. Больше, чем мои!

О. Игнатий покачал головой.

— Больше, Верочка. Ну что мне, старому, смерть? А ты... Ведь если бы ты знала, какая ты нежная и слабая, и робкая! Помнишь, как ты поколела падьчик, и кровь капнула, и ты

заплакала? Дочка моя! И ты ведь меня любишь, сильно любишь, я знаю. Каждое утро ты целуешь мою руку. Скажи, скажи, о чем тоскует твоя головка, и я—вот этими руками—я удушю твою горе. Они еще сильны, Вера, эти руки.

Волосы о. Игнатия встряхнулись.

— Скажи!

О. Игнатий впился глазами в стену и протянул руки.

— Скажи!

В комнате было тихо, и из глубокой дали пронесся продолжительный и прерывистый свисток паровоза.

О. Игнатий, поводя кругом расширившимися глазами, точно перед ним встал страшный призрак изуродованного трупа, медленно приподнялся с колен и неверным движением поднес к голове руку с растопыренными и напряженно выпрямленными пальцами. Отступив к двери, о. Игнатий отрывисто шепнул:

— Скажи!

И ответом ему было молчание.

#### IV.

На другой день, после раннего и одинокого обеда, о. Игнатий пошел на кладбище — в первый раз после смерти дочери. Было жарко, безлюдно и тихо, как будто этот жаркий день был только освещенною ночью, но, по привычке, о. Игнатий старательно выпрямлял спину, сурово смотрел по сторонам и думал, что он все такой же, как прежде: он не замечал ни новой и страшной слабости в ногах, ни того, что длинная борода его стала совсем белой, словно жестокий мороз ударил на нее. Дорога к кладбищу шла по длинной прямой улице, слегка поднимавшейся вверх, и в конце ее белела арка кладбищенских ворот, похожая на черный, вечно открытый рот, окаймленный блестящими зубами.

Могила Веры находилась в глубине кладбища, где кончались усыпанные песком дорожки, и о. Игнатию долго пришлось путаться в узеньких тропинках, ломаной линией проходивших между зеленых бугорков, всеми забытых и всеми покинутых. Местами попадались покосившиеся, позеленевшие от старости памятники, изломанные решетки и большие, тяжелые камни, вросшие в землю и с какой-то угрюмой, старческой злобой давившие ее. К одному из таких камней прижималась могила

Веры. Она была покрыта новым, пожелтевшим дерном, но кругом нее все зеленело. Рябина обнялась с кленом, а широко раскинувшийся куст орешника протягивал над могилой свои гибкие ветви с пушистыми, шершавыми листьями. Усевшись на соседнюю могилу и передохнув, о. Игнатий оглянулся кругом, бросил взгляд на безоблачное, пустынное небо, где в полной неподвижности висел раскаленный солнечный диск, — и тут только ощутил ту глубокую, ни с чем несравнимую тишину, какая царит на кладбищах, когда нет ветра и не шумит омертвевшая листва. И снова о. Игнатию пришла мысль, что это не тишина, а молчание. Оно разливалось до самых кирпичных стен кладбища, тяжело переползало через них и затопляло город. И конец ему только там — в серых, упрямо и упорно молчащих глазах.

О. Игнатий передернул похолодевшими плечами и опустил глаза вниз, на могилу Веры. Он долго смотрел на пожелтевшие коротенькие стебли травы, вырванной с землею откуда-нибудь с широкого, обвеваемого ветром поля и не успевшей сродниться с чуждой почвой, — и не мог представить, что там, под этой травой, в двух аршинах от него лежит Вера. И эта близость казалась непостижимой и вносила в душу смущение и странную тревогу. Та, о которой о. Игнатий привык думать, как о навеки исчезнувшей в темных глубинах безконечного, была здесь, возле... и трудно было понять, что ея все-таки нет и никогда не будет. И о. Игнатию чудилось, что если он скажет какое-то слово, которое он почти ощущал на своих устах, или сделает какое-то движение, Вера выйдет из могилы и станет такая же высокая, красивая, какою была. И не только одна она встанет, но встанут и все мертвецы, которые так страшно ощутимы в своем торжественно-холодном молчании.

О. Игнатий снял широкополую черную шляпу, расправил волнистые волосы и шопотом сказал:

— Вера!

Ему стало неловко, что его может услышать кто-нибудь посторонний, и встав на могилу, о. Игнатий взглянул поверх крестов. Никого не было, и он уже громко повторил:

— Вера!

Это был старый голос о. Игнатия, сухой и требовательный, и странно было, что с такою силою высказанное требование остается без ответа.

— Вера!

Громко и настойчиво звал голос, и, когда он умолкал, с минуту чудилось, что где-то внизу звучал неясный ответ. И

о. Игнатий, еще раз оглянувшись кругом, отстранил волосы от уха и прилег им к жесткому, колючему дерну.

— Вера, скажи!

И с ужасом почувствовал о. Игнатий, что в ухо его вливается что-то могильно-холодное и студит мозг, и что Вера говорит, — но говорит она все тем же долгим молчанием. Все тревожнее и страшнее становится оно, и когда о. Игнатий с усилием отдирает от земли голову, бледную, как у мертвеца, ему кажется, что весь воздух дрожит и трепещет от гулкого молчания, словно на этом страшном море поднялась дикая буря. Молчание душит его; оно ледяными волнами перекачивается через его голову и шевелит волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую под ударами. Дрожь всем телом, бросая по сторонам острые и внезапные взгляды, о. Игнатий медленно поднимается и долгим, мучительным усилием старается выпрямить спину и придать гордую осанку дрожащему телу. И это удается ему. С намеренной медлительностью о. Игнатий отряхивает колени, надевает шляпу, трижды крестит могилу и идет ровною, твердою поступью, но не узнает знакомого кладбища и теряет дорогу.

— Заблудился! — усмехается о. Игнатий и останавливается на разветвлении тропинок.

Но стоит он одну секунду и, не думая, сворачивает налево, потому что ждать и стоять нельзя. Молчание гонит. Оно поднимается от зеленых могил; им дышат угрюмые серые кресты; тонкими, удушающими струями оно выходит из всех пор земли, насыщенной трупами. Все быстрее становятся шаги о. Игнатия. Оглушенный, он кружится по одним и тем же дорожкам, перескакивает могилы, натывается на решетки, цепляется руками за колючие жестяные венки, и рвется в клочья мягкая материя. Только одна мысль о выходе осталась в его голове. Из стороны в сторону мечется он и наконец безшумно бежит, высокий и необыкновенный в развевающейся рясе и с плывущими по воздуху волосами. Сильнее, чем самого вставшего из гроба мертвеца, испугался бы всякий, встретив эту дикую фигуру бегущего, прыгающего и размахивающего руками человека, увидев его перекосившееся безумное лицо, услышав глухой хрип, выходявший из его открытого рта.

Со всего разбегу о. Игнатий выскочил на площадку, в конце которой белела невысокая кладбищенская церковь. У притвора на низенькой лавке дремал старичок, по виду дальний богомolec, и возле него, наскაკивая друг на друга, спорили и бранились две старухи-нищенки.

Когда о. Игнатий подходил к дому, уже темнело, и в комнате Ольги Степановны горел огонь. Не раздеваясь и не снимая шляпы, пыльный и оборванный, о. Игнатий быстро прошел к жене и упал на колени.

— Мать. . . Оля. . . пожалей же меня! — рыдал он. — Я с ума схожу.

И он бился головой о край стола и рыдал бурно, мучительно, как человек, который никогда не плачет. И он поднял голову, уверенный, что сейчас свершится чудо, и жена заговорит и пожалеет его.

— Родная!

Всею большим телом потянулся он к жене — и встретил взгляд серых глаз. В них не было ни сожаления ни гнева. Быть-может, жена прощала и жалела, его но в глазах не было ни жалости ни прощения. Они были немые и молчали.

И молчал весь темный опустевший дом.



Но, нет, в том, что слушали мы, было нечто еще ни разу и ни кем не сказанное.

Косцы были „дальние“, рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях еще более плодородных, чем наши. И они были как-то особенно беззаботны и дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были „охочи к работе“, неосознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятнее и красивей и видом и одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубашами с красными, кумачевыми воротами и такими же подмышниками.

С неделю перед этим они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными как бритва косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли ровной чередой, не напрягаясь, не торопясь, не думая о работе. А на возвратном пути я видел их уже ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна и ели большие куски чего-то розоватого.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они ответили приветливо и оживленно:

Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели косцы, были страшные своим ядом и дурманом грибы — мухоморы. А они только засмеялись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: — „Ты прости, прощай, любезный друг!“ — подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни.

Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе:

она была связана со всем, что видели и чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем закате, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по-пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ея простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем несознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ея душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что это была как будто и не песня, а именно только вздохи, подьемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той младенческой задушевностью, с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, которая была свойственна в песне только русскому человеку. Это не было высокое искусство — это было выше и прекраснее всякого искусства прежде всего своей изумительной естественностью. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. И косцы подвигались, без малейшего усилия, бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая вокруг пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они прощались, расставались и с „родимой сторо-нушкой“ и со своим счастьем, с надеждами и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости, прощай, любезный друг,

И родимая ах да прощай сторонушка! —

говорили, вздыхали, они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой (в какой-то беззаботной, почти сладкой безнадежности) укоризной.

Ты прости, прощай, любезная, неверная моя,

По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил — Бог с тобою,

Коли лучше найдешь — позабудешь! —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдешь — позабудешь,

Коли хуже найдешь — пожалеешь!

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее тоске и безнадежности? В том, что человек все-таки не верил да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. — „Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!“ — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. — „Ты прости, прощай, родимая сторонушка!“ — говорил человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — безпредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. — „Закатилось красное солнышко за темные леса, ах, да все пташки приумолкли, все садились по местам!“ — Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная молчаливая ночь с ее таинственной глушью обступает меня, — и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: — „Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитяtko!“ — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные и премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его „по его младости“. Были для него ковры-самолеты, шапки-неведимки, текли реки молочные, цвел дивный Аленький

Цветочек, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклęcia, чудодейные опять таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, ветры буйные, пески летучие — и прощал милосердный Бог за все злодеяния, за все пошвысты удалые, ножи острые, горячие. . .

Еще одно, говорю я, было в этой песне, — то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, но тоже не сознавали, не ценили, чтобы сознать, оценить только теперь: это то что бесконечно счастливы и благословенны Богом были мы все в те прошлые дни, теперь уже бесконечно далекие — и невозвратимые. Ибо всему срок, миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклęcia, изсохла Мать-Сыра-Земля, изсыкли животворные ключи. Да и чары-то пришли дурманнее, сильнее тех ключей, и соседи, враги уж не прежние — похитрее, пожаднее прежних — и настал конец, предел даже Божьему прощению.

## ПОСТ

И. БУНИН

Деревенская усадьба, начало марта, первые недели Великого поста.

Дни темные, однообразные.

Но они точно долгий, спокойный канун праздника.

Я живу затворником, за работой с утра до вечера.

Но я работаю легко, споро, с той редкой остротой душевного зрения, которая дает такое непередаваемое счастье.

— „Се тебе, душе моя, вверяет Владыка талант: со страхом приими дар“.

Нынче я опять не заметил, как прошел мой день.

Но вот бьет шесть, темнеет, синее за окнами.

Усталый, умиротворенный, я кладу перо, мысленно благодаря Бога за силы, за труд, одеваюсь и выхожу на крыльцо.

Сумерки, тишина, сладкий мартовский воздух. . .

Я иду по деревне, додумываю свои думы, укрепляя свои тайные вымыслы, но все вижу все, замечаю и чувствую — всему теперь открыто мое сердце, мои глаза, мои уши.

Ах, да, канун, канун.

Даже в зимней угрюмости этих сумерок уже есть весна — в их чуть зримой синеве.

Зыбки серые снега полей за деревней, избы в деревне чернеют смутно, нигде ни одного огня.

Темно и в усадьбе, на которую гляжу я, возвращаясь с деревни.

За усадьбой облаками темнеет под хмурым небом сад.

Но и в этом весна — в том, что так поздно не зажигают на деревне огней и что сад похож на тучу, что так хмуры и небо и вершины сада.

На выгоне — церковь, там нынче служба.

Я подхожу и различаю у церковных ворот парные сани, крытые старым ковром, помещичьи.

Тут же, у коновязи, — мужицкие лошади в дровнях, мелкие, лохматые, за зиму обросшие густой шерстью.

На снегу возле них — клоки сена, перебитого с конским навозом, и все это пахнет свежо, сыро, тоже по весеннему.

Полевым, нелюдимым гулом гудят голые тополи, возвышающиеся над церковной оградой.

На глазах, с каждой минутой темнеет, — лица проходящих в церковь уже плохо видны, — к ночи поднимается легкая заметь, и в гудящих метлах тополей есть что-то строгое, жуткое.

За воротами, в затишьи, воздух мягче, но порой церковный двор сереет от поземки, ограда дымится, и по моему лицу пробегает холодная снежная пыль.

Когда на высоком каменном крыльце церкви отворяются двери, видна за черными сенями ее внутренность в золотых и красных точках огней, с блестящим иконостасом — и кажется торжественной.

Поднявшись на крыльцо, слышу тот сложный и холодный, особый запах, что бывает только на папертях русских церквей, ранней русской весной.

Дальше — стеклянные двери, густое и пахучее церковное тепло, темная стена народа и яркий свет за нею.

Там, в этом ярком свете, у большого свещника, на котором пылает целый золотой костер, стоит барышня, та, чьи сани я видел за воротами.

Она бледна, свежа и так чиста, как бывают только говеющие девушки, едва вышедшие из отроческого возраста.

Ея серо-голубое платье, под которым сквозит корсет, сжавший тонкую талию, приняло от блеска свечей зеленоватый, лунный тон.

На спине лежит черная, чуть пушистая коса. Озарен нежный бвал ея лица и густые ресницы, поднятые на образа иконостаса.

От каких грехов очищается она постом, стояниями, своей бледностью?

Что за чувства у меня к ней?

Дочь она мне? Невеста?

В темноте возвращаюсь домой и провожу вечер за книгой, в мире несуществующем, но столь, нераздельном со всем, чем втайне живет моя душа.

Засыпаю с мыслью о радостях завтрашнего дня — о радостях своих вымыслов.

Ей, Господи, не даждь ми духа праздности, уныния.

Больше мне ничего не надо. Все есть у меня, все в мире — мое.

## ПРЕОБРАЖЕНИЕ

И. БУНИН

Двор был богатый, семья большая.

Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажила и жила так долго, что казалось, никогда не будет конца ея жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуплистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшим в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали по-немногу сдавать да сдавать, как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать им свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сгорбились, забились на палаты, на печь, отчуждились сперва от семьи, а потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете — и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы ютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую•пору... Кому бы пришло в голову бояться ея, жалкой, слезливой, босой, сгорбленной и от старости и от постоянной угодливой робости! Бери в обед, в ужин свою колгушку с похлебкой, бери корку хлеба и ступай куда-нибудь подальше от людного стола, куда-нибудь в уголок под палатами, — только и всего...

Но вот захворала уже как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и безпомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. — „Мамушка, ай тебе курятинки сварить, либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?“ — А она только дышет в забыты, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех, — отошла.

---

Глубокая зима, ночь. Ночь для нея, среди живых, последняя. На дворе мятель, тьма, вся деревня спит. Спит и весь двор, — обе жилые связи полны спящими, — и надо всей этой зимней ночью и метелью, надо всем сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество, — в покойницу.

Она лежит в холодной половине — уже в гробе, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробовой мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчевым покровом, стоит за столом, ярко озаренным целым пуком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и безпокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, искрятся снегом, снаружи намерзающим на них.

Псалтирь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью,

и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам — кому же было читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, — и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни, что он погиб, погиб без возврата! Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает не смолкая, все на один лад, — как поднял голос по церковному, так и остался на высокой ноте, — читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения от страшного ужаса, все растущего в нем. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это — его родная мать, но и в целом мире, и что ночь так глубока, час такой поздний, что ему уже не от кого ждать ни защиты, ни помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчитал своих сил, решившись читать псалтирь над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его внезапно обуял страх и что он не может двинуться от этого страха, не может убежать из этой избы? Нет, случилось нечто гораздо более дивное, случилось чудо, и он поражен не простым страхом, а именно этим чудом, поражен дивным изумлением перед таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла — разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так же непостижимо, как Бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом темно-лиловым плюшем с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера уютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преобразование — и все в мире, весь мир преобразился ради нея. И он один, один в этом преобразенном мире!

Он волшебным образом замкнут в нем и он должен стоять в нем до рассвета и читать не смолкая на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспри-

нимая что невыразимо жуткое и невыразимо чарующее, что как некая литургия совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчевый покров на груди покойницы — она как-бы медленно дышет! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей — и уже все вокруг превращается в сплошное изступление восторга и ужаса, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет январьская вьюга, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно — этот ветер тоже она, усопшая, это от нея веет этим чистым, как смерть, и ледяным, как вечность, дыханием и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности мир живых!

---

Теперь Гаврил еще молодой и моложавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он бездетен. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им — ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему, умных, лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком — счастье, никогда не изменяющее ему.

Он простой, ласковый, даже веселый. Но эта веселость как бы блаженного. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери, в ее последнюю ночь среди живых.

# ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

М. ГОРЬКИЙ.

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезду. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно-задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар! . . — тихо вздыхает Надыр-Рагим-Оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик. Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному часто сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко, и нет никаких желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей

гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка с'ехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его точно он говорит с морем:

— Верный Богу человек идет в рай. А который не служит, Богу и пророку? Может, он — вот в этой пене . . . И те серебряные пятна на воде, может, он же . . . кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим! . . Расскажи сказку . . . — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уже рассказал . . . Больше не знаю.

Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

## I.

„Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

„Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень . . .

„А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями . . .

„Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

„Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях . . .

„С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень . . .

„Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птице две-три минуты . . .

„Подполз он ближе к разбитой птице и прошептал ей он прямо в очи:

„— Что, умираешь?

„— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх, ты, бедняга!

„— Ну, что же — небо? пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

„Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

„И так подумал: „летай иль ползай, конец известен; все в землю лягут, все прахом будет...“

„Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

„Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

„И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

„— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..“

„А Уж подумал: должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..“

„И предложил он свободной птице: —“ А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся.

„Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь еще немного в твоей стихии“.

„И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

„И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

„И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...“

„Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

„А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...“

## II.

„В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

„И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

„— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть не надолго.

„Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

„— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо... Взлетел в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

„И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

„Блестело море все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

„В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

„Безумству храбрых поем мы славу!

„Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О, смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время — и капли крови твоей горячее, как искры, вспыхнут во мраке жизни, и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

„Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

„Безумству храбрых поем мы песню!..“

... Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нисколько не смешна и не страшна выходка Раги́ма, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темносинему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно-чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темносинюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения . . .

# СТАРЫЙ ЗВОНАРЬ

(Весенняя идиллия)

В. КОРОЛЕНКО

Стемнело.

Небольшое селение, приотившееся над дальнею речкой, в бору, тонуло в том особенном сумраке, которым полны весенние звездные ночи, когда тонкий туман, подымаясь с земли, сгущает тени лесов и застилает открытые пространства серебристо-лазурной дымкой . . .

Все тихо, задумчиво, грустно.

Село тихо чуть дремлет.

Убогие хаты выделяются темными очертаниями; кое-где мерцают огни; изредка скрипнут ворота; залает чуткая собака и смолкнет; порой из темной массы тихо шумящего леса выделяются фигуры пешеходов, проедет всадник, проскрипит телега. То жители одиноких лесных поселков собираются в свою церковь встречать весенний праздник.

Церковь стоит на холмике, в самой середине поселка. Окна ее светят огнями. Колокольня — старая, высокая, темная — тонет вершиной в лазури.

Скрипят ступени лестницы . . . Старый звонарь Михеич подымается на колокольню, и скоро его фонарик, точно взлетевшая в воздухе звезда, виснет в пространстве.

Тяжело старику взбираться по крутой лестнице. Не служат уже старые ноги, поизносился он сам, плохо видят глаза . . . Пора уж, пора старику на покой, да Бог не шлет смерти. Хоронил сыновей, хоронил внуков, провозжал в домовину старых, провозжал молодых, а сам все еще жив. Тяжело . . . Много уж раз встречал он весенний праздник, потерял счет и тому, сколько раз ждал урочного часа на этой самой колокольне. И вот привел Бог опять . . .

Старик подошел к пролету колокольни и облокотился на перила. Внизу, вокруг церкви маячили в темноте могилы сельского кладбища; старые кресты как будто охраняли их распростертыми руками. Кое где склонялись над ними березы, еще не покрытые листьями . . . Оттуда, снизу, неся к Михеичу

ароматный запах молодых почек и веяло грустным спокойствием вечного сна . . .

Что-то будет с ним через год? Взберется ли он опять сюда на вышку, под медный колокол, чтобы гулким ударом разбудить чутко дремлющую ночь, или будет лежать вон там, в темном уголке кладбища, под крестом? Бог знает . . . Он готов, а пока привел Бог еще раз встретить праздник. „Слава те Господи!“ — шепчут старческие уста привычную формулу, и Михеич смотрит вверх на горящее миллионами огней звездное небо и крестится . . .

— Михеич, а Михеич! — зовет его снизу дребезжащий тоже старческий голос. Древний годами дьячек смотрит вверх на колокольню, даже приставляет ладонь к моргающим и слезящимся глазам, но все же не видит Михеича.

— Что тебе? Здесь я! — отвечает звонарь, склоняясь с своей колокольни. — Аль не видишь?

— Не вижу. . . А не пора ли и вдарить? По твоему, как?

Оба смотрят на звезды. Тысячи Божьих огней мигают на них с высоты. Пламенный „Воз“ поднялся уже высоко . . . Михеич соображает.

— Нет еще, погоди мало . . . Знаю ведь . . .

Он знает. Ему не нужно часов. Божьи звезды скажут ему, когда придет время . . . Земля и небо и белое облако, тихо плывущее в лазури, и темный бор, невнятно шепчущий внизу, и плеск невидной во мраке речки — все это ему знакомо, все это ему родное . . . Не даром здесь прожита целая жизнь . . .

Перед ним оживает далекое прошлое . . . Он вспоминает, как в первый раз он с тяткой взобрался на эту колокольню . . . Господи Боже, как это давно и . . . как недавно . . . Он видит себя белокурым мальчонком; глаза его разгорелись; ветер, — но не тот, что подымает уличную пыль, а какой-то особенный, высоко над землей машущий своими бесшумными крыльями — развеивает его волосенки . . . Внизу далеко-далеко ходят какие-то маленькие люди, и домишки деревни тоже маленькие, и лес отодвинулся вдаль, и круглая поляна, на которой стоит поселок, кажется такой громадной, почти безграничной.

— Ан вон она вся тут! — улыбнулся седой старик, взглянув на небольшую полянку.

Так вот — и жизнь . . . Смолоду конца ей не видишь и краю . . . Ан вон она вся, как на ладони, с начала и до самой вон той могилки, что облюбовал он себе в углу кладбища . . . И что ж — слава те Господи! — пора на покой. Тяжелая дорога пройдена честно; а сырая земля — ему мать. Скоро уж, скоро . . .

Однако, пора. Взглянув еще раз на звезды, Михеич поднялся, снял шапку, перекрестился и стал подбирать веревки от колоколов . . . Через минуту ночной воздух дрогнул от гулкого удара . . . Другой, третий, четвертый . . . один за другим наполняли чутко дремавшую предпраздничную ночь, полились властные, тягучие, звенящие и поющие тоны . . .

Звон смолк. В церкви началась служба. В прежние годы Михеич всегда спускался по лестнице вниз и становился в углу, у дверей, чтобы молиться и слушать пение. Но теперь он остался на своей вышке. Трудно ему, при том же он чувствовал какую-то истому. Он присел на скамейку и, слушая стихающий гул расколыхавшейся меди, глубоко задумался. О чем? — он сам едва ли мог бы ответить на этот вопрос . . . Колокольная вышка слабо освещалась его фонарем. Глухо гудящие колокола тонули во мраке. Снизу из церкви, по временам слабым рокотом доносилось пение, и ночной ветер шевелил веревки, привязанные к железным колокольным сердцам . . .

Старик опустил на грудь свою седую голову, в которой роились бессвязные представления. „Тропарь поют!“ — думает он и видит себя тоже в церкви. На клиросе заливаются десятки детских голосов; старенький священник, покойный отец Наум, „возглашает“ дрожащим голосом возгласы; сотни мужичьих голов, как спелые колосья от ветру, нагибаются и вновь поднимаются . . . Мужики крестятся . . . Все знакомые лица и все-то покойники . . . Вот строгий облик отца; вот и старший брат истово крестится и вздыхает, стоя рядом с отцом. Вот и он сам, цветущий здоровьем и силой, полный бессознательной надежды на счастье, на радость жизни . . . Где оно, это счастье? . . . Старческая мысль вспыхивает, как угасающее пламя, скользя ярким быстрым лучем, освещающим все закоулки прожитой жизни . . . Непосильный труд, горе, забота . . . Где оно, это счастье? Тяжелая доля проведет морщины по молодому лицу, согнет могучую спину, научит вздыхать, как и старшего брата . . .

Но вот, налево среди деревенских баб, смиренно склонив голову, стоит его „молодица“. Добрая была баба, царствие небесное! И много же приняла муки, сердешная . . . Нужда да работа, да неисходное бабье горе иссушат красивую бабу; потускнеют глаза и выражение вечного тупого испуга перед неожиданными ударами жизни заменит величавую красоту молодницы . . . Да, где ее счастье? . . . Один остался у них сын, надежда и радость, и того осилила людская неправда . . .

А вот и он, богатый ворог, бьет земные поклоны, замаливая

кровавые сиротские слезы. Торопливо взмахивает он на себя крестное знамение и падает на колени и стучает лбом . . . И кипит-разгорается у Михеича сердце, а темные лики икон сурово глядят со стены на людское горе и на людскую неправду . . .

Все это прошло, все это там, позади . . . А теперь весь мир для него — это темная вышка, где ветер гудит в темноте, шевеля колокольными веревками . . . „Бог вас суди, Бог, суди!“ шепчет старик и поникает седою головой, и слезы тихо льются по старым щекам звонаря . . .

— Михеич, а Михеич! . . . Что ж ты, али заснул? — кричат ему снизу.

— Ась, — откликнулся старик и быстро вскочил на ноги. — Господи! Неужто и вправду заснул? Не было еще такого сраму! . . .

И Михеич быстро, привычною рукой, хватает веревки. Внизу, точно муравейник, движется мужичья толпа: хоругви бьются в воздухе, поблескивая золотистою парчой . . . Вот обошли крестным ходом вокруг церкви, и до Михеича доносится радостный клич . . .

— Христо-о-с воскресе из мерт-вых . . .

И отдается этот клич волною в старческом сердце . . . И кажется Михеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых свечей, и сильней заволновалась толпа и забились хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны звуков и широкими взмахами понес их в высь, сливаясь с громким торжественным звоном . . .

Никогда еще так не звонил старый Михеич.

Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали, и сплетаясь чудною вереницею, неслись вверх, к самому звездному небу.

И звезды вспыхивали ярче, разгорались, и звуки дрожали и лились, и вновь припадали к земле с любовной лаской . . .

Большой бас громко вскрикивал и кидал властные могучие тона, оглашавшие небо и землю: „Христос воскресе!“

А два самые маленькие дисканта, точно торопясь, чтобы не отстать, вплетались между больших и радостно, точно малые ребята, пели вперегонку: „Христос воскресе“.

И два тенора, вздрагивая от поочередных ударов железных сердец, подпевали ему радостно и звонко: „Христос воскресе!“

И казалось, старая колокольня дрожит и колеблется, и ветер, обвевающий лицо звонаря, трепещет, могучими крыльями и вторит: „Христос воскресе!“

И старое сердце забыло про жизнь, полную забот и обиды... Забыл старый звонарь, что жизнь для него замкнулась в угрюмую и тесную вышку, что он в мире один, как старый пень, разбитый злою непогодой... Он слушает, как эти звуки поют и плачут, летят к горнему небу и припадают к бедной земле, и кажется ему, что он окружен сыновьями и внуками, что это их радостные голоса, голоса больших и малых, сливаются в один хор и поют ему про счастье и радость, которых он не видал в своей жизни... И дергает веревки старый звонарь, и слезы бегут по лицу, и сердце усиленно бьется иллюзией счастья...

А внизу люди слушали и говорили друг другу, что никогда еще не звонил так чудно старый Михеич...

Но вдруг большой колокол неуверенно дрогнул и смолк... Смущенные подголоски прозвенели неоконченную трель и тоже оборвали ее, как будто вслушиваясь в печально-гудящую долгую ноту, которая дрожит и льется, и плачет, постепенно стихая в воздухе...

Старый звонарь изнеможенно опустился на скамейку, и две последние слезы тихо катятся по бледным щекам.

Эй, посылайте на смену! Старый звонарь отзвонил...

# ОДИНОЧЕСТВО.

А. КУПРИН.

После полудня стало так жарко, что пассажиры 1-го и 2-го классов один за другим перебрались на верхнюю палубу. Несмотря на безветрие, вся поверхность реки кипела мелкой дрожащей зыбью, в которой нестерпимо ярко дробились солнечные лучи, производя впечатление безчисленного множества серебряных шариков, невысоко подпрыгивающих на воде. Только на отмелях, там, где берег длинным мысом врзался в реку, вода огибала его неподвижной лентой, спокойно синевшей среди этой блестящей ряби. На небе, побледневшем от солнечного жара и света, не было ни одной тучки, но на пыльном горизонте, как раз над сизой и зубчатой полосой дальнего леса, кое-где протянулись тонкие белые облачка, отливавшие по краям, как мазки расплавленного металла. Черный дым, не подымаясь над низкой закоптелой трубой, стлался за пароходом длинным грязным хвостом.

Покромцевы, муж и жена, тоже вышли на палубу. Их вовсе не стесняло окружавшее многолюдное и совершенно незнакомое общество; наоборот, они в нем чувствовали себя еще ближе, еще теснее друг к другу. Они были женаты уже три месяца — именно такой срок, после которого молодые супруги особенно охотно посещают театры, гулянья и балы, где, потерявшись в толпе чужих людей, они глубже и острее чувствуют взаимную близость, обратившуюся в привычку за время медового месяца. Лишь изредка они обменивались незначительным односложным замечанием, улыбкой или долгим взглядом. И он и она испытывали то полное, ленивое и сладкое счастье, которое дает только путешествие, сопровождаемое молодостью и беззаботной удовлетворенной любовью.

Снизу, из машинного отделения, вместе с теплым запахом нефти, доносилось непрерывное шипение, мягкие удары работающих поршней и какие-то глубокие, правильные вздохи, в такт которым так же размеренно вздрагивала деревянная палуба „Ястреба“. Под колесами парохода клокотала вода, выбрасывая сердитые бугры белой пены. За кормой, торопливо догоняя ее, бежали ряды длинных, широких волн; белые кур-

чавые гребни неожиданно вскипали на их мутно-зеленой вершине и, плавно опустившись вниз, вдруг таяли, точно прятались под воду. Расходясь по реке все шире, все дальше, волны набегали на берег, колебали и пригибали к земле жидкие кусты ивняка и, разбившись с шумным плеском и пеною об откос, бежали назад, обнажая мокрую песчаную отмель, всю изъеденную прибоем.

Кое-где на кустах висели длинные рыбачьи сети. Чайки с пронзительным криком летели навстречу пароходу, сверкая на солнце при каждом взмахе своих широких, изогнутых крыльев. Изредка на болотистом берегу виднелась серая цапля, стоявшая в важной и задумчивой позе на своих длинных красноватых ногах.

Но это однообразие не прискучивало Вере Львовне и не утомляло ее, потому что на весь Божий мир она глядела сквозь радужную пелену тихого очарованья, переполнявшего ее душу. Ей все казалось милым и дорогим: и „наш“ пароход — необыкновенно чистенький и быстрый пароход! — и „наш“ капитан — здоровенный толстяк в парусинной паре и клеенчатом картузе, с багровым лицом, сизым носом и звериным голосом, давно охрипшим от непогод, оранья и пьянства, — „наш“ лопман — красивый, чернобородый мужик в красной рубахе, который вертел в своей стеклянной будочке колесо штурвала, в то время, как его острые, прищуренные глаза твердо и неподвижно смотрели вдаль. Слегка облокотившись на проволочную сетку, Вера Львовна с наслаждением глядела, как играли в волнах белые барашки, а в голове ее под размеренные вздохи машины звучал мотив какой-то самодельной польки, и с этим мотивом в странную гармонию сливались и шум воды под колесами и дребезжание чашек в буфете...

Иногда навстречу „Ястребу“ попадался буксирный пароход, тащивший за собою на толстом канате длинную вереницу низких, неуклюжих барок. Тогда оба парохода начинали угрожающе реветь, что заставляло Веру Львовну с испуганным видом зажмуривать глаза и затыкать уши...

Вдали показывалась пристань — маленький красный домик, выстроенный на барке. Капитан, приложивши рот к медному рупору, проведенному в машинное отделение, кричал командные слова, и его голос казался выходящим из глубокой бочки. „Самый малый! Ступ! Задний ход! Сту-уп!..“ С нижней палубы выбрасывали канат, и он, развиваясь в воздухе, с грохотом падал на крышу пристани. Матросы по дрожащим сходям выносили на берег громадные кули и мешки, сгибаясь под их

тяжестью и придерживая их железными крюками. Около станции толпились бабы и девчонки в красных сарафанах; они навязчиво предлагали пассажирам вялую малину, бутылки с кипяченым молоком, соленую рыбу и баранину. Ямские лошади, над которыми вились тучи слепней, нетерпеливо позвякивали бубенчиками и колокольцами . . .

Жара понемногу спадала. От воды поднялся легкий ветерок. Солнце садилось в пожаре пурпурного пламени и растопленного золота; когда же яркие краски зари потухли, то весь горизонт осветился ровным пыльно-розовым сиянием. Наконец и это сияние померкло, и только невысоко над землей, в том месте, где закатилось солнце, осталась неясная длинная розовая полоска, незаметно переходившая наверху в нежный голубоватый оттенок вечернего неба, а внизу в тяжелую сизоватую мглу, подымавшуюся от земли. Воздух сгустился, похолодел. Откуда-то донесся и скользнул по палубе слабый запах меда и сырой травы. На востоке, за волнистой линией холмов, разрастался темно-золотой свет луны, готовый взойти. Она показалась сначала только одним краешком и потом выплыла — большая, огненно-красная и как будто бы приплюснутая сверху.

На пароходе зажгли электричество и засветили на бортах сигнальные фонари. Из трубы валили длинным снопом и стлались за пароходом, тая в воздухе, красные искры. Вода казалась светлее неба и уже не кипела больше. Она успокоилась, затихла, и волны от парохода расходились по ней такие чистые и гладкие, как будто бы они рождались и застывали в жидком стекле. Луна поднялась еще выше и побледнела; диск ее сделался правильным и блестящим, как отполированный серебряный щит. По воде протянулся от берега к пароходу и заиграл золотыми блестками и струйками длинный дрожащий столб.

Становилось свежо. Покромцев заметил, что жена его два раза содрогнулась плечами и спиной под своим шерстяным платком, и, нагнувшись к ней, спросил:

— Птичка моя, тебе не холодно? Может-быть, пойдем в каюту?

Вера Львовна подняла голову и посмотрела на мужа. Его лицо при лунном свете стало бледнее обыкновенного, пушистые усы и остроконечная бородка вырисовывались резче, а глаза удлиннились и приняли странное, нежное выражение.

— Нет, нет . . . не беспокойся, милый . . . Мне очень хорошо, — ответила она.

Она не чувствовала холода, но ее охватила та щемящая

томная жуть, которая овладевает нервными людьми в яркие лунные ночи, когда небо кажется холодной и огромной пустыней. Низкие берега, бежавшие мимо парохода, были молчаливы и печальны, прибрежные леса окутанные влажным мраком, казались страшными.

У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой...

Он, точно угадывая ее мимолетное желание, тихо обвил ее половиной своего широкого пальто, и они оба затихли прижавшись друг к другу, и, касаясь друг друга головами, слились в один грациозный темный силуэт, между тем как луна бросала яркие серебряные пятна на их плечи и на очертание их фигур.

Пароход стал двигаться осторожнее, из боязни наткнуться на мель... Матросы на носу измеряли глубину реки, и в ночном воздухе отчетливо звучали их протяжные восклицания: „Ше-есть!.. Шесть с полови-оной!.. Во-осемь!.. По-од таба-ак!.. Се-мь!“ В этих высоких стонущих звуках слышалось то же уныние, каким были полны темные печальные берега и холодное небо. Но под плащом было очень тепло, и, крепко прижимаясь к любимому человеку, Вера Львовна еще глубже ощущала свое счастье.

На правом берегу показались смутные очертания высокой горы с легкой, резной, деревянной беседкой на самой вершине. Беседка была ярко освещена, и внутри ее двигались люди. Видно было, как, услышав шум приближающегося парохода, они подходили к перилам и, облокотившись на них, глядели вниз.

— Ах, Володя, посмотри, какая прелесть! — воскликнула Вера Львовна. — Совсем кружевная беседка... Вот бы нам с тобой здесь пожить...

— Я здесь провел целое лето, — сказал Покромцев.

— Да? Неужели? Это, наверное, чье-нибудь имение?

— Князей Ширковых. Очень богатые люди...

Она не видела его лица, но чувствовала, что, произнося эти слова, он слегка разглаживает концами пальцев свои усы, и что в его голосе звучит улыбка воспоминания.

— Когда же ты был там? Ты мне ничего о них не рассказывал... Что они за люди?

— Люди?... Как тебе сказать?.. Ни дурные ни хорошие... Веселые люди...

Он замолчал, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. Тогда Вера Львовна сказала:

— Ты смеешься . . . Ты, верно, вспомнил что-нибудь интересное, — возразил Покромцев и крепче обнял талию жены. — Так . . . маленькие глупости . . . не стоит и вспоминать.

Вера Львовна не хотела больше расспрашивать, но Покромцев начал говорить сам. Ему приятно было, что его жена узнает, в какой широкой барской обстановке ему приходилось жить. Это щекотало мелочным, но приятным образом его самолюбие. Широковы жили летом в своем имении, точь в точь, как английские лорды. Правда, сам Покромцев был там только репититором, но он сумел себя поставить так, что с ним обращались как со своим, даже больше того, — как с близким человеком. Ведь настоящих светских людей всего скорее и узнаешь именно по их очаровательной простоте. Лето промелькнуло удивительно быстро и весело: лаун-теннис, пикники, шарады, спектакли, прогулки верхом . . . К обеду все собирались по звуку гонга, непременно во фраках и белых галстуках, — одним словом, самое утонченное соединение строгого этикета с простотой и прекрасных манер с непринужденным весельем. Конечно, в такой жизни есть и свои недостатки, но пожить ею хоть одно лето — и то чрезвычайно приятно.

Вера Львовна слушала его, не прерывая ни одним словом и в то же время испытывая нехорошее, похожее на ревность, чувство. Ей было больно думать, что у него в памяти остался хоть один счастливый момент из его прежней жизни, не уничтоженный, не сглаженный их теперешним общим счастьем.

Беседка вдруг точно спряталась за поворотом. Вера Львовна молчала, а Покромцев, увлеченный своими воспоминаниями, продолжал:

— Ну, конечно, играли в любовь, без этого на даче нельзя. Все играли, начиная со старого князя и кончая безусыми лицеистами, моими учениками. И все друг другу покровительствовали, смотрели сквозь пальцы.

— А ты? Ты тоже . . . ухаживал за кем-нибудь? — спросила Вера Львовна неестественно-спокойным тоном.

Он провел рукой по усам. Этот самодовольный, так хорошо знакомый Вере Львовне жест вдруг показался ей пошлым.

— Н-да . . . и я тоже. У меня вышел маленький роман с княжной Кэт. очень смешной роман и, пожалуй, если хочешь, даже немного безнравственный. Понимаешь: девице еще и 16-ти лет не исполнилось, но развязность, самоуверенность и прочее — просто удивительные. Она мне прямо изложила свой

взгляд. „Мне, говорит, здесь скучно, потому что я ни одного дня не могу прожить без сознания, что в меня все кругом влюблены. Вы один здесь только мне и нравитесь. Вы недурны собой, с вами можно разговаривать, ну и так далее. Вы, конечно, понимаете, что женой вашей я быть не могу, но почему же нам не провести это лето весело и приятно?“

— Ну и что же? Было весело? — спросила Вера Львовна, стараясь говорить небрежно, и сама испугалась своего внезапно охрипшего голоса.

Этот голос заставил Покромцева насторожиться. Как бы извиняясь за то, что причинил ей боль, он притянул к себе голову жены и прикоснулся губами к ее виску. Но какое-то подлое, неудержимое влечение, копошившееся в его душе, какое-то смутное и гадкое чувство, похожее на хвастливое молодечество, тянуло его рассказывать дальше.

— Вот мы и играли в любовь с этим подлетком и в конце лета расстались. Она совсем равнодушно благодарила меня за то, что я помог ей не скучать, и жалела, что не встрети-лась со мною, уже выйдя замуж. Впрочем, она, по ее словам, не теряла надежды встретиться со мною впоследствии.

И он прибавил с деланным смехом :

— Вообще, эта история составляет для меня одно из самых неприятных воспоминаний. Ведь правда, Верочка, гадко все это?

Вера Львовна не ответила ему. Покромцев почувствовал к ней жалость и стал раскаиваться в своей откровенности. Желая загладить неприятное впечатление, он еще раз поцеловал жену в щеку . . .

Вера Львовна не сопротивлялась, но и не ответила на поцелуй . . . Странное, мучительное и самой ей неясное чувство овладело ее душой. Тут была отчасти и ревность к прошедшему, — самый ужасный вид ревности, — но была только отчасти. Вера Львовна давно слышала и знала, что у каждого мужчины бывают до женитьбы интрижки и связи, что то, что для женщины составляет огромное событие, для мужчины является простым случаем, и что с этим ужасным порядком вещей надо поневоле мириться. Было тут и негодование на ту унижительную и развратную роль, которая выпала в этом романе на долю ее мужа, но Вера Львовна вспомнила, что и ее поцелуй с ним, когда они еще были женихом и невестой не всегда носили невинный и чистый характер. Страшнее всего в этом новом чувстве было сознание того, что Владимир Иванович вдруг сделался для своей жены чужим, далеким человеком, и что их прежняя близость никогда уже не может возвратиться.

„Зачем он мне рассказал всю эту гадость — мучительно думала она, стискивая и терзая свои похолодевшие руки. — Он перевернул всю мою душу и наполнил ее грязью, но что же я могу ему сказать на это? Как я узнаю, что он испытывал во время своего рассказа? Сожаление о прошлом? Нехорошее волнение? Гадливость? (Нет, уж во всяком случае не гадливость: тон у него был самодовольный, хоть он и старался это скрыть) . . . Надежду опять встретиться когда-нибудь с этой Кэт? А почему же и не так? Если я спрошу его об этом, он, конечно, поспешит меня успокоить, но как проникнуть в самую глубь его души, в самые отдаленные изгибы его сознания? Почему я могу узнать, что, говоря со мной искренно и правдиво, он в то же время не обманывает — и, может-быть, совершенно невольно — своей совестью? О! Чего бы я ни дала за возможность хоть один только миг пожить его внутренней, чужой для меня жизнью, подслушать все оттенки его мысли, подсмотреть, что делается в этом сердце . . .

И это страстное влечение слиться мыслью, отождествиться с другим человеком, приняло такие огромные размеры, что Вера Львовна нечаянно для самой себя, крепко прижалась головой к голове мужа, точно желая проникнуть, войти в его существо. Но он не понял этого невольного движения и подумал что жена просто хочет к нему приласкаться, как озябшая кошечка. Он пощекотал ее усами по щеке и сказал тоном, каким говорят с балованными детьми:

— Веруся бай-бай хочет? Верусенька озябла? Пойдем в каютку, Верусенька?

Она молча поднялась, кутаясь в свой платок.

— Верусенька на нас ни за что не сердится? — спросил Покромцев тем же сладким голосом.

Вера Львовна отрицательно покачала головой. Но перед трапом, ведущим в каюты, она остановилась и сказала:

— Послушай, Володя, тебе ни разу не приходило в голову, что никогда, понимаешь, никогда двое людей не поймут вполне друг друга?.. Какими бы тесными узами они ни были связаны?..

Он чувствовал себя немного виноватым и потому пробормотал со смехом:

— Ну вот, Верунчик, какую философию развела . . . Разве мы с тобой не понимаем друг друга?

В каюте он скоро заснул сном здорового человека. Его дыхания не было слышно, и лицо приняло детское выражение.

Но Вера Львовна не могла спать. Ей стало душно в тесной каюте и прикосновение бархатной обивки дивана раздражало

кожу ей рук и шеи. Она встала, чтобы опять выйти на палубу — Ты куда, мамуся? — спросил Покромцев, разбуженный шелестом ее юбок.

— Лежи, лежи, я сейчас приду. Я еще минутку посижу на палубе, — ответила она, делая ему рукою знак, чтобы он не вставал.

Ей хотелось остаться одной и думать. Присутствие мужа, даже спящего, стесняло ее. Выйдя на палубу, она невольно села на то же самое место, где сидела раньше. Небо стало еще холоднее, а вода потемнела и потеряла свою прозрачность. То и дело легкие тучки, похожие на пушистые комки ваты, набегали на светлый круг луны и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием. Печальные, низкие и темные берега так же молчаливо бежали мимо парохода.

Вере Львовне было жутко и тоскливо. Она впервые в своей жизни натолкнулась сегодня на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми. „Что же я о нем знаю? — шопотом спрашивала себя Вера Львовна, сжимая руками горячий лоб. — Что я знаю о моем муже, об этом человеке, с которым я вместе и ем, и пью, и сплю, и с которым всю жизнь должна пройти вместе? Положим, я знаю, что он красив, что он любит свою физическую силу и холит свои мускулы, что он музыкален, что он читает стихи нараспев, знаю даже больше, знаю его ласковые слова, знаю, как он целуется, знаю пять или шесть его привычек. . . Ну, а больше? Что же я больше-то знаю о нем? Известно ли мне, какой след оставили в его сердце и уме его прежняя увлечения? Могу ли я отгадать у него те моменты, когда человек во время смеха внутренне страдает или когда наружной, лицемерной печалью прикрывает злорадство? Как разобраться во всех этих тонких изворотах чужой мысли, в этом чудовищном вихре чувств и желаний, который постоянно, быстро и неуловимо несется в душе постороннего человека?“

Внезапно она почувствовала такую глубокую внутреннюю тоску, такое щемящее сознание вечного одиночества, что ей захотелось плакать. Она вспомнила свою мать, братьев, меньшую сестру. Разве и они не так же чужды ей, как чужд этот красивый брюнет с нежной улыбкой и ласковыми глазами, который называется ее мужем? Разве сможет она когда-нибудь так взглянуть на мир, как они глядят, увидеть то, что они чувствуют? . .

Около четырех часов утра Покромцев проснулся и был очень удивлен, не видя на противоположном диване своей жены. Он быстро оделся и, позевывая и вздрагивая от утреннего холодка, вышел на палубу.

Солнце еще не всходило, но половина неба уже была залита бледным розовым светом. Прозрачная и спокойная река лежала точно громадное зеркало в зеленой, влажной раме оживших, орошенных лугов. Легкие, розовые морщины слегка бороздили на гладкую поверхность, а пена под пароходными колесами казалась молочно-розовой. На правом берегу молодой березовый лес с его частым строем тонких, прямых, белых стволов был окутан, точно тонкой кисеей легким покровом тумана. Сизая, тяжелая туча, низко повисшая на востоке, одна только боролась с сияющим торжеством нарядного летнего утра. Но и на ней уже брызнули, точно кровавые потоки, темно-красные штрихи.

Вера Львовна сидела на том же месте, облокотясь руками на решетку и положив на них отяжелевшую голову. Покромцев подошел к ней и, обняв ее, напыщенно продекламировал голосом, разбухшим от здорового сна:

— „Вышла из мрака младая, с перстами пурпурными, Эос“...

Но, когда он увидел ее серьезное, заплаканное лицо, он точно поперхнулся последним словом.

— Верусенька, что с тобой? Что такое, моя дорогая?

Но она уже приготовилась к этому вопросу. Она так много передумала за эту ночь, что пришла к единственному разумному и холодному решению: надо жить, как все, надо подчиняться обстоятельствам, надо даже лгать, если нельзя говорить правду.

И она ответила, виновато и растерянно улыбаясь:

— Ничего, мой милый. Просто — у меня бессоница...

## КУСТ СИРЕНИ

А. КУПРИН

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое

несчастье . . . Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами . . .

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности . . .

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному Богу и жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили. Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года под ряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукой. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость . . . Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый, для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону . . . Вера стояла в двух шагах от него, также молча, с страданием, на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого трудно-больного человека . . .

— Коля, ну как же твоя работа? . . . Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно, ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к чорту пошло! . . . Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул портфель с чертежами: — всю

эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна . . . О чорт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но подолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно . . . Да еще густое такое пятно . . . жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить . . . Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. „Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?“ Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может-быть, засмеялся бы только . . . Впрочем, нет, не рассмеется, — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: „Здесь, действительно кусты растут“. А он говорит: „Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может“. Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. „Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом . . . Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты . . .“

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

— Ах, Господи, почему? Какие ты, ей-Богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете да еще немец вдобавок . . . Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю . . . Кроме того . . .

Во все время разговора он вытаскивал из стоящей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хотелось заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей!

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.

— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извищаться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.

— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас-же.

Посадить? ... Кусты! ... — вытаращил глаза Николай Евграфович.

— Да, посадить. Если уже сказал раз неправду, — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь посмотри в шкафу... Зонтик!

Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не выслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.

— Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?

Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывала кругом, чтобы удостовериться не забыто ли что-нибудь дома.

— Едем, — сказала она наконец решительно.

— Но куда же мы поедем? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.

— Глупости... Едем!

Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.

— Да ведь это настоящий брильянт, — возмущалась Вера: — он стоит тридцать семь рублей и то по случаю.

Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.

— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не

принимаем, — сказал он, — бросая на чашечку весов следующую вещь: — мы оцениваем только металлы-с.

Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем однако набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьей за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычайной просьбой. Вероятно он заподозрел какую нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо.

— Извините, но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — я к вашим услугам.

Тогда оставалось только одно средство; рассказать садовнику подробно всю историю с злополчным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но, когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательней и несколько раз сочувственно улыбнулся.

— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать; — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?

Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суежилась и мешала рабочим, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывшей всю седловинку.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь

себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал. „Что это за дерево?“ — спрашивает. Я говорю: — „Не знаю, ваше-ство?“ — „Березка, должно — быть?“ — говорит. Я отвечаю: — „Должно-быть, березка, ваше-ство“. Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. — „Извините, говорит меня, поручик. Должно-быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики“. Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!

Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля . . .

И они шли домой так, как будто бы кроме них никого на улице не было: держась за руку и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку . . .

Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день . . . После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.

— Ты — чему? — спросила Вера.

— А ты чему?

— Нет, ты говори первый, а я потом.

— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью.

А ты?

— Я тоже глупости и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком . . .

# МЕЖДУ СВОИМИ.

К. СТАНЮКОВИЧ.

## I.

Вскоре после выхода корвета в кругосветное плавание или, как говорят матросы, „в дальнюю“, Иван Артемьев, совсем молодой, цветущего здоровья матрос, краснощекий красивый брюнет, лихой брамсельный <sup>1)</sup> и загребной на капитанском вельботе, — простудился поздней, ненастной осенью и серьезно занемог, схватив воспаление легких.

Белезнь затянулась. Молодой матрос, видимо, таял.

Когда, месяц спустя, корвет зашел на несколько дней в Брест, судовой врач, молодой человек, лет пять как окончивший курс в московском университете, снова долго и внимательно выслушивал и выстукивал еще недавно богатырскую, а теперь исхудалую, с резко выступающими ребрами, смуглую грудь Артемьева и, отправившись к капитану, доложил ему, что Артемьева следовало бы списать с корвета и оставить в Бресте, в морском госпитале.

— Разве он так плох, доктор?

— Очень плох . . . Скоротечная форма чахотки.

— Нет надежды спасти его?

— По моему мнению, никакой! — не без зазорного апломба, присущего очень молодым врачам, отвечал доктор и принял еще более серьезный вид.

— Жаль отправлять беднягу умирать к чужим людям . . . Ну, да что делать! Все-таки на берегу ему будет лучше, чем у нас в лазарете. Ведь у нас в лазарете для больных скверно, а?

— Для серьезно-больных не хорошо. Каюта маленькая. Воздуха мало. Удобств никаких . . .

— Так, так . . . Вы говорили об этом Артемьеву?

— Нет еще. Сегодня скажу, а завтра, если разрешите, сам свезу его в госпиталь и сдам французским врачам.

Через час после этого разговора, доктор, несколько взволнованный, но старавшийся скрыть это волнение, вошел в лаза-

<sup>1)</sup> Матрос, который ходит крепить брамсели — самые верхние паруса.

рет — небольшую, сиявшую чистотой каюту, помещавшуюся на кубрике. Несмотря на пропущенный в двери виндзейль, в низенькой каюте отдавало сырым, спертым воздухом и сильно пахло лекарствами. В ней было четыре койки, по две у каждой переборки, расположенные, в виде нар, одна над другой. Три были пусты, а в четвертой, внизу, головою к борту судна, лежал единственный больной на корвете, матрос 1-й статьи Иван Артемьев.

Он лежал с широко-раскрытыми, большими, блестящими, черными глазами, серьезными, с выражением какой-то сосредоточенной вдумчивости, какая часто бывает у безнадежно и долго больных. Его осунувшееся смуглое лицо с заостренным носом, словно прозрачными ноздрями, с удлинившимся подбородком, черневшим щетиной небритой бороды, с характерными горевшими пятнами на впалых щеках, с выдавшимися скулами и сухими воспаленными губами, — его лицо было спокойно, красиво и мертвенно-бледно. Сразу чувствовалось, что смерть уже сторожит это еще недавно крепкое, здоровое тело.

При входе доктора не в урочное время, Артемьев приподнял с подушки голову с мокрыми у висков волосами, снова опустил ее и, перебирая край байкового белого одеяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными, с выросшими желтыми ногтями, — вопросительно, испуганно и подозрительно повел взглядом на вошедшего.

— Ну, что, братец, все знобит? — искусственно-развязным и небрежным тоном проговорил врач, полагая, что он таким образом подбадривает больного, и в то же время чувствуя какую-то неловкость перед этим испуганным взглядом матроса.

— Знобит, ваше благородие! А то всем, кажется, здоров. Нутренне ничего не болит, ваше благородие! — с живостью отвечал Артемьев.

И все еще глядя на врача с подозрительной пытливостью, торопливо прибавил:

— Вот если бы от этого самого ознобу ослобониться, и опять вошел бы в силу, ваше благородие . . . Озноб только не пущает.

Глухой его голос звучал надеждой. Он, видимо, употреблял усилие, чтобы при докторе казаться бодрым и не столь слабым, точно в нем бродили какие-то смутные подозрения насчет недобрых намерений доктора, и больной хотел обмануть его.

Доктор, добродушный и мягкий москвич, еще не закаленный своею профессией настолько, чтобы равнодушно смотреть

на людские страдания, опустив голову, чтобы скрыть невольное смущение, почему-то откашлялся и, избегая смотреть в эти пытливые, черные глаза больного, проговорил все тем же искусственно-небрежным тоном:

— В том-то и дело, братец, чтобы озноба не было . . . И ты конечно, поправишься . . . Об этом нечего и говорить . . . Я не сомневаюсь . . .

Он на мгновение остановился, поднял голову и встретил радостный, уверенный взгляд больного.

И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этом взгляде, продолжал еще веселее и увереннее:

— Поправишься, конечно . . . Опять молодцом станешь, но только для этого тебе надо на берег . . . А на корвете, брат, плохая поправка . . . Понимаешь?

— Куда же это на берег? — испуганно и жалобно прошептал больной, словно бы в недоумении.

— А здесь, в Брест, в госпиталь . . . Там отлично . . . Там живо поправка пойдет . . . А как поправишься, тебя оттуда в Кронштадт отправят, а из Кронштадта в деревню пойдешь, к себе домой . . . Я тебе и бумагу такую дам.

Выходило как будто очень хорошо. Но с первых же слов доктора в глазах и в лице молодого матроса появилось выражение такого страха, отчаяния и скорби, что доктор окончил свою речь далеко не с той развязной веселостью, с какой начал.

На мгновение больной замер, словно пораженный.

Но вслед затем он проговорил с отчаянной мольбой:

— Ваше благородие! Отец родной! Не отсылайте меня с „конверта“ Дозвольте остаться. Явите Божескую милость!

Доктор стал его уговаривать: на берегу он скоро выздоровеет, а здесь болезнь может затянуться . . .

— Ваше благородие! Будьте добры . . . Уж ежели Бог не пошлет мне поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой стороне!

От волнения он закашлялся. Из груди его вырвался зловещий, глухой шум и что-то внутри клокотало. Его чудные глаза глядели на доктора с такою мольбою, что молодой доктор, видимо, колебался.

— Но послушай, Артемьев . . . ведь там тебе было бы лучше! . . . — снова начал он.

— На чужой-то стороне лучше? Да я там с тоски, ваше благородие, помру. Здесь — свои ребята. Пожалеют, по крайности. Слово есть с кем перемолвить . . . а там? . . . Не погубите, ваше благородие! Дозвольте остаться! Я скоро поправлюсь,

вот только в теплые места придем, и опять буду исправным матросом, ваше благородие! — молил матрос, словно бы оправдываясь и за свою болезнь, и за то, что он не может быть исправным, лихим матросом.

Взволнованный этим отчаянием, доктор почувствовал жестокость своего решения и ласково проговорил:

— Ну, ну, не волнуйся, брат . . . Уж если ты так не хочешь, оставайся!

Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и он с чувством произнес:

— Век не забуду, ваше благородие!

Снова доктор пошел в капитанскую каюту и, рассказавши капитану об отчаянии молодого матроса, просил теперь разрешения оставить его на корвете.

Капитан охотно согласился и заметил:

— Вот скоро в тропиках будем . . . Воздух чудный . . . Быть может Артемьеву и лучше будет. Как вы думаете, доктор?

— К сожалению, ничто не спасет беднягу. Дни его сочтены! — с уверенностью отвечал молодой врач и даже несколько обиделся, что капитан как будто не вполне доверяет его авторитету.

— А какой славный матрос был! — пожалел капитан.

## II.

Когда на баке — этом матросском клубе, где обсуждаются все явления судовой жизни — узнали, что Артемьева хотели отправить во французский госпиталь и что затем оставили на корвете, — все матросы искренно порадовались за товарища.

Со всех сторон сыпались замечания:

— Уж коли помирать, так по крайности между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!

— Это что и говорить . . . Лучше прямо в море бросить!

— Тут хоть призор есть, а там пойми, что он лопочет!

— И без попа . . . Так без отпущения и отдашь душу . . .

— Ишь ведь, что было-выдумал дохтур! К французам! А еще добрый!

— Добер, а поди-ж . . .

— Молод очень! Дохтур, а того невдомек, что матросу никак не годится умирать в чужих людях. Может, господам все равно, а российский матрос на это охоткой не согласится! — авторитетно решил старый унтер-офицер Архипов, раскуривая

у кадки с водой, вокруг которой собрался кружок, свою трубочку, набитую махоркой.

И, раскурив ее, категорически и властно прибавил:

— То-то оно и есть. И умен, и учен, а разуму мало. Нажить его, братец ты мой, надо. А то: к французам! И выходит, что дохтур сам в роде как-быдто француз.

Все на минутку примолкли, точно нашедшие разгадку поведения доктора. Приговор такого авторитетного человека, как унтер-офицер Архипов, очень уважаемого матросами за справедливость, был, некоторым образом, разрешающим аккордом.

И с этой минуты наш милый судовой врач пошел у матросов под шуточной кличкой „француза“.

— А что, милый человек, господин, фершал, Игнат Степаныч! Разве Ванька Артемьев того . . . помрет?

С такими словами обратился к подошедшему фельдшеру немолодой, коренастый, чернявый матрос с добродушной физиономией, сизый нос которого свидетельствовал о главном недостатке Рябкина, известного весельчака, балогура и сказочника, безшабашного марсового, ходившего на тык-болт, и отчаянного забулдыги и пьяницы, пропивавшего, когда попадал на берег, не только деньги, но и все собственные вещи.

Фельдшер, мужчина лет около сорока, с рыже-огненными волосами весь в веснушках, рябой и некрасивый, но считавший себя неотразимым Дон-Жуаном для кронштадтских горничных, сделал серьезную мину, перенятую им от докторов, заложил палец за борт своего сюртука и не без апломба ответил:

— Туберкулез . . . Ничего с ним, братец, не поделаешь.

— Чихотка, значит?

— Пневмония-одна форма, туберкулезис — другая. Тебе, впрочем, братец, этой мудрости не понять — не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистом быть! — продолжал фельдшер, любивший-таки огорашивать матросов разными подобными словечками. — Могу тебе только сказать, что бедному Артемьеву не долго жить.

— Ну? — испуганно воскликнул Рябкин.

— То-то, ну! С туберкулезом не шути, братец ты мой. Он и лошадь обрабатывает, а не то, что человека.

— Ах, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный! — промолвил Рябкин, и обычная, веселая улыбка сбежала с его лица.

И все, кто тут был, пожалели Артемьева.

— Рано, любезный, хоронишь! — сторого и внушительно

обратился старый унтер-офицер к фельдшеру. — Бог-то, может, не послушает вас с дохтуром, а вызовет человека.

— Да я-то что? По мне живи на здоровье. Тут не я, а наука!

— На-у-ка! — презрительно протянул Архипов. — Господь и науку обернет, ежели на то Его воля . . .

И Архипов, сунув трубку в карман, не спеша, вышел из круга.

Фельдшер только безнадежно пожал плечами. Дескать, нечего с вами разговаривать!

### III.

Недели через две корвет уже плыл в тропиках, направляясь к югу. Погода стояла восхитительная. На небе ни облачка. Тропическая жара умерялась ровным, вечно дующим в одном направлении, мягким пассатом и свежей влагой океана.

И корвет шел да шел узлов по семи, по восьми, имея на себе всю парусину. Не даром же моряки зовут плавание в тропиках, с пассатом, дачным плаванием. В самом деле, спокойное, благодатное плавание! Не надо и брасом шевелить, то-есть менять положение парусов. И для матросов это — пора самой спокойной морской жизни. Стоят они на вахте не по-вахтенно, а по отделениям, и вахты самые приятные. Не приходится ждать бурь и непогод, бежать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусов, словом, не приходится быть постоянно „на-чеку“. На этих вахтах почти никакой работы. И матросы коротают их, „лясничая“ между собою, вспоминая в тропиках родную сторону, развлекаясь иногда зрелищем китов, пускающих фонтаны, любясь блестящими на солнце летучими рыбками, маленькими, далеко залетающими от берега петрелями, громадными, белоснежными альбатросами и высоко реющими в прозрачном воздухе фрегатами. А в эти дивные тропические ночи с мириадами мигающих звезд, — ночи, когда вся команда спит на палубе, — вахтенные, примостившись кучками, коротают время еще более интимными воспоминаниями или сказками, которые рассказывает кто-нибудь из умелых сказочников, к удовольствию слушателей.

Вахтенный молодой офицер, весь в белом, легком костюме, ходит взад и вперед по мостику, поглядывает вперед, нет ли где огоньков идущего судна, вдыхает полной грудью прохладный воздух ночи, невольно мечтает, предаваясь воспоминаниям,

и, усталый от долгой ходьбы, прислоняется к поручням, дремлет с открытыми глазами, как умеют дремать моряки, и снова начинает ходить, вновь вспоминая, быть-может, кого-нибудь из близких, находящихся далеко-далеко, или пару милых глаз, кажущихся среди океана еще милее, или маленькую руку с тонкими длинными пальцами, с голубыми жилками, просвечивающими сквозь нежную белизну кожи, — руку, которую еще недавно он украдкой целовал в Кронштадте . . . В эти ласкающие ночи моряки, давно не бывшие на берегу, становятся несколько сентиментальны.

А корвет, плавно покачиваясь, идет себе вперед во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан с тихим гулом искрящейся брызгами воды, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическим светом.

Иногда только эта безмолвная прелесть плавания в тропиках нарушается набегающими шквалами с проливным дождем. Приближение такого шквала внимательно сторожится зорким глазом вахтенного офицера. Посматривая в бинокль, он вдруг замечает на далеком, только-что чистом горизонте маленькое серое пятно. Оно становится все больше и больше и быстро вырастает в темную грозовую тучу, соединенную с океаном серым косым дождевым столбом, освещенным лучами солнца. И эта туча, и этот серый широкий столб стремительно несутся к корвету. Солнце скрылось. Вода почернела. В воздухе душно . . . Туча все ближе и ближе . . . Корвет уже готов к встрече внезапного гостя: брамсели убраны; марсели, фок и грот взяты на гитовы . . . Шквал налетел, охватил со всех сторон судно серой мглой, накренил корвет, понес его на минуту с страшной быстротой, облил всех ливнем крупного тропического дождя, помчался далее, и через минуту, другую и туча, и дождевой столб становятся все меньше и меньше и кажутся на противоположном горизонте крошечным серым пятнышком.

И снова высокое голубое небо с веселой лаской смотрит сверху. Воздух полон чудной свежести. Снова корвет поставил все паруса, и тот же мягкий ровный пассатный ветерок несет его. Матросские рубахи уже просохли, — только в снастях еще блестят капли — и снова поставленный тент защищает головы моряков от ослепительных лучей тропического солнца.

Артемьеву, казалось, стало лучше, Лихорадка мучила его с более долгими промежутками, он чувствовал себя бодрей, с аппетитом ел кушанье с кают-компанейского стола и пил по две рюмки мадеры в день. По распоряжению доктора, больного

с утра выводили на верх, и он проводил там целые дни, лежа большею частью в койке, подвешенной у шкафута — на средней части судна, смотрел на обычную утреннюю чистку, на обычные перед'обеденные работы и учения, слушал хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеров, перекидывался словами с подходившими к нему матросами, и все это его занимало, приобретая в его глазах какую-то прелесть новизны. Иногда он подолгу глядел своими большими серьезными глазами и на безбрежный, сверкавший на солнце океан, и на бирюзовую высь неба, глядел и задумывался, словно пытаясь разрешить какую-то загадку, неожиданно возникшую для него после долгого созерцания природы и каких-то новых странных дум, являвшихся во время долгой болезни.

По временам мысли его витали в воспоминаниях о далекой бедной деревушке с черными избами, и мужичьей жизни, об этом темном лесе, куда он с отцом часто ездил по ночам рубить „Божий лес“, который почему-то считали казенным, и тогда скорбное чувство подкрадывалось к сердцу. Он жалел своих, скорбел о тяжелой мужичьей доле, спрашивал себя, отчего Бог не ко всем милостив, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать ответ . . .

Его часто охватывала дремота: он забывался на короткие промежутки, и ему снились сны. В этих сновидениях Артемьев был попрежнему сильный, здоровый, ретивый матрос, летавший духом на марс, крепивший брамсель или наваливавшийся из-всех сил на весло, когда приходилось на щегольском вельботе отвозить капитана . . .

И, внезапно просыпаясь, он с грустью чувствовал свою беспомощность и часто с горечью смотрел на свои исхудалые руки, ощупывал свои выдавшиеся ребра, винил доктора за то, что не входит в силу, и каждое утро с трогательной простотой молил Бога, чтобы Господь послал ему поправку.

Но и в „теплых местах“ поправка не приходила, и больной становился все более нетерпеливым и раздражительным. Но о смерти он не думал, надеясь, что озноб „отпустит“, наконец, и он опять войдет в силу.

Его только удивляло особое внимание, какое ему теперь оказывали. К нему подходили офицеры и капитан и говорили добрые, обнадеживающие слова. Сам ругатель-боцман, прежде изредка „смазывавший Артемьева по уху и часто ругавший его, теперь, напротив, нет-нет, да и заглянет к нему на койку. И грубый, сиплый голос боцмана звучит непривычной для уха молодого матроса нежностью, хотя боцман как-то сердито

хмурил брови, глядя на исхудалое лицо больного. Он скажет два-три слова и уходя, прибавит:

— Ну, брат, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Бог милостив . . . Поправишься.

И все, он это чувствовал, как-то особенно относились к нему.

„За что?“ — иногда думал он, растроганный таким непривычным вниманием.

И вскоре бедняга узнал, „за что“, услышав неосторожный разговор двух матросов о том, что ему, по словам доктора, жить осталось уж немного. „Слава Богу, коли ден десять протянет!“

Он обомлел и как-то вдруг весь почувствовал, что это правда, и что он не жилец на белом свете.

И скорбные жгучие слезы тихо скатились с его славных глаз.

## VI.

Ах, какие тяжелые были эти безконечно длинные последние ночи в маленькой душной каюте! Сна почти не было. Больной изредка забывался и снова приходил в себя и лежал неподвижно с открытыми глазами в полутемной каюте освещенной слабым светом фонаря. Кругом тишина. Слышно лишь бульканье воды у борта, да легонькое поскрипывание корвета.

Тоска, щемящая, безнадежная тоска!

Но забулдыга и пьяница Рябкин не забывал больного в его ночном одиночестве. Каждую ночь, перед вахтой или сменившись с вахты, Рябкин, лишая себя сна, осторожно входил в лазарет, присаживался на пол у койки Артемьева, успокаивал его, старался подбодрить и начинал рассказывать ему свои безконечные сказки.

Он их рассказывал увлекательно, мастерски, с различными, ~~и~~ самим сочиненными вариантами, и деликатно изменял конец сказки, если он был печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.

И молодой матрос, несколько успокоенный, слушал их и иногда дремал, убаюканный этим тихим, ритмическим кадансом сказочной речи.

Случалось, Артемьев неожиданно прерывал рассказчика и спрашивал:

— Послушай, Рябкин, что я хочу спросить . . .

— Что, Ваня?

— Как ты думаешь, как будет на том свете? Тяжело душе или нет?

Рябкин, никогда в жизни не думавший о таких деликатных предметах, на секунду задумывался, но со свойственной ему находчивостью быстро решал вопрос и уверенно отвечал:

— Надо, братец ты мой, полагать, что душе нашего брата будет хорошо... Господским душам будет хуже... это верно... потому им на этом свете очень даже вольготно... Ну, значит, и ваши-валом, голубчики, в ад... Сделайте ваше одолжение... Пожалуйте!.. Однако, и из нашего звания тоже, я думаю, не всякий в рай... Мне, примерно голубчик мой, давно в пекле паек готов за то, что я жру это самое винище. Небось, заставят растопленную медь глотать... А силушки нет, милый человек, бросить эту самую водку!.. Вот оно как будет на том свете! — заключил Рябкин, вполне уверенный, казалось, в правильности своих внезапных соображений насчет „того света“.

Несколько секунд длилось молчание.

И молодой матрос вновь заговорил:

— Тоже иной раз думается: вот умер человек, а что там?

— Да брось ты глупые мысли. Вот тоже!.. Еще, брат, мы с тобой и на этом свете поживем. А как, братец ты мой, вечер боцман Ваську Скобликова звезданул! В кровь! В самую, значит, носовую часть! — круто переменял Рябкин разговор, желая отвлечь внимание товарища от грустных предметов.

Но Артемьев молчал, оставаясь равнодушен к этому сообщению. Его, казалось, уже не занимали все эти прежде интересовавшие его вещи. Все это представлялось теперь ему каким-то далеким прошлым.

— У вас на форт-брамсели вот тоже... Михайлов брамгорденя не отдал. Ну, и костил же его, брат, старший офицер сегодня. Однако всего раз с'ездил.

Но вместо ответа Артемьев вдруг сказал:

— Не хочца помирать, голубчик, а надо. Так, видно, Богу угодно, чтобы меня бросили в окиан! — прибавил он с тоской.

— Ведь вот глупый! С чего ты зря мелешь. Да нешто я не понимаю матросского здоровья? Отлично, братец, понимаю. Слава Богу, двенадцать лет в матросах околачиваюсь... Тоже вот у нас на „Копчике“ молодой матросик был и занемог, как ты. Так около году провалялся у нас на клипере, а после в такую поправку пошел, что страсть.

Но эти слова, повидимому, мало утешали Артемьева. Рябкин это чувствовал и снова начинал сказку.

— Ты бы спать шел, Рябкин.

— Спать? Да бытто неохота спать . . . Ужо утром выплусь!  
— Ишь ты, сердешный . . . Жалеешь . . . Добер . . . Бог тебе  
и вино простит!

## V.

Корвет подходил к экватору. Артемьев доживал последние дни.

Однажды, рано утром, он попросил к себе в лазарет гардемарина Юшкова, который учил прежде Артемьева грамоте, часто разговаривал с ним, писал от него письма в деревню, к родителям, и был очень расположен к молодому матросу.

— Простите, барин, что обезпокоил . . . Исполните последнюю просьбу — напишите домой грамотку . . . Да вот вещи какие после меня останутся, так чтобы отослать, как вернетесь в Рассею . . .

Гардемарин стал было успокаивать его, но матрос остановил его:

— Полно, голубчик барин! Я знаю, что умру.

И он передал завернутые в тряпочку два золотых и, указывая на байковый платок, две рубахи, башмаки, вязаный шарф и еще кое-какие вещи, собранные на лазаретном столе, просил все это послать отцу с матерью.

— И отпишите им, барин, что я так и так . . . помер, и что завсегда был покорным их сыном и буду на том свете молиться за них и за всех хрестьян . . . И сестрицам, и братцам, и всей деревне нижайший поклон . . . Напишите, барин?

— Напишу! — отвечал гардемарин, глотая слезы.

— А другую грамотку отпишите, барин, в Кронштадт, Авдотье Матвевне Николаевой, . . . А как вернетесь. — отдайте ей вот эти гостинцы.

И он указал глазами на шелковый красный платок и маленькое колечко с поддельным камнем, купленные им в Копенгагене.

— Адрец тут же лежит на платочке . . . Маменька ихняя торгует на рынке . . . Так напишите ей, что она напрасно тогда не верила . . . Думала, что я так только . . . и все смеялась. Напишите ей, барин, что ежели я путался с другими, так от обидного сердца, а желанная была она одна. И напишите, что я шлю ей свой нижайший поклон, целую в сахарные ея уста и дай ей Бог всякого благополучия. Напишите, барин?

— Напишу.

— А затем спасибо вам за все, добрый барин. Простимся!  
Сдерживая рыдания, гардемарин поцеловал матроса и выбежал из лазарета.

## VI.

В ту же ночь молодой матрос умер.

Труп его одели в полный матросский костюм и ранним утром вынесли на верх, на шканцы, и положили на доске, лежавшей на козлах. Перед обедом, в присутствии капитана, офицеров и всей команды, была отслужена священником панихида. И эта служба, и это печальное пение отличного хора певчих здесь, среди безбрежного океана, так далеко-далеко от родины, производили невыносимо тоскливое впечатление.

После панихиды все подходили прощаться с усопшим. Флаг с утра был приспущен, в знак того, что на судне покойник.

К вечеру труп зашили в парусинный мешок, плотно охватывавший мертвое тело, к ногам привязали ядро, и после отпевания и отдачи воинских почестей, при глубоком молчании команды, четыре матроса понесли усопшего на доске к борту корвета, наклонили доску, и труп молодого матроса с легким всплеском исчез в прозрачной синеве океана.

Все разошлись в суровом безмолвии. У некоторых на глазах блестели слезы. Рябкин плакал, как малый ребенок.

А справа величественно закатывалось солнце, заливая багровым блеском далекий горизонт.

# ШУТОЧКА.

А. ЧЕХОВ

Ясный, зимний полдень . . . Мороз крепок, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется покатаая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном.

— С'едемте вниз Надежда Петровна! — Умоляю я. — Один только раз! Уверю вас, мы останемся целы и невредимы.

Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. У нее замирает дух и прерывается дыхание, когда она глядит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрет, сойдет с ума.

— Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость!

Наденька, наконец, уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санки обхватываю рукой и вместе с нею низвергаюсь в бездну.

Санки летят, как пуля. Рассекаемой воздух бьет в лицо ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову. От напора ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу . . . Вот-вот еще мгновение и кажется, — мы погибнем!

— Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса.

Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжание полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька ни жива, ни мертва. Она бледна, едва дышит . . . Я помогаю ей подняться.

— Ни за что в другой раз не поеду, — говорит она, глядя

на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я едва не умерла!

Немного погодя, она приходит в себя и уже вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только слышались ей в шуме вихря? А я стою возле нее, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку.

Она берет, меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покою. Были сказаны те слова, или нет? Да, или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно, пронизающим взором заглядывает мне в лицо, отвечает невпопад, ждет, не заговорю ли я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость...

— Знаете что? — говорит она, не глядя на меня.

— Что? — спрашиваю я.

— Давайте еще раз . . . прокатим.

Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим в страшную пропасть, опять ревет ветер и жужжат полозья, и опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Наденька!

Когда санки останавливаются, Наденька окидывает взглядом гору, по которой мы только-что катили, потом долго всматривается в мое лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся, вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка, — выражают крайнее недоумение. И на лице у нее написано:

— В чем же дело? Кто произнес те слова? Он, или мне только слышалось?

Эта неизвестность беспокоит ее, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечает на вопросы, хмурится, готова заплакать.

— Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я.

— А мне . . . мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам еще раз?

Ей „нравится“ это катанье, а между тем, садясь в санки, она, как и в те разы, бледна, еле дышит от страха, дрожит.

Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить:

— Я люблю вас, Надя!

И загадка остается загадкой! Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее с катка домой, она старается идти тише замедляет шаги и все ждет, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать:

— Не может же быть, чтоб их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер!

На другой день утром я получаю записочку: „Если пойдете сегодня на каток, то заходите за мной. Н.“ И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я всякий раз произношу вполголоса одни и те же слова:

— Я люблю вас, Надя!

Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию<sup>1)</sup>. Она жить без нее не может. Правда, лететь с горы попрежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые попрежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются все те же двое: я и ветер . . . Кто из двух признается ей в любви, она не знает, но ей, повидимому, уже все равно: из какого сосуда ни пить — все равно, лишь бы быть пьяным.

Как-то в полдень я отправился на каток один; смешавшись с толпой, я вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня . . . Затем робко идет вверх по лесенке . . .

Страшно ехать одной, о как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, она идет точно на казнь, но идет, идет без оглядки, решительно: Она, очевидно, решила, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, с раскрытым от ужаса ртом, садится в санки, закрывает глаза и, простившись навеки с землей, трогается с места . . . „Жж жж“ . . . жужжат полосья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю . . . Я вижу только, как она поднимается из саней изнеможенная, слабая. И видно по ее лицу, она и сама не знает, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она катила вниз, отнял у нее способность слышать, различать звуки, понимать . . .

Но вот наступает весенний месяц март . . . Солнце ста-

---

<sup>1)</sup> Морфий — лекарственное вещество для успокоения болей. При впрыскивании под кожу в определенной дозе — морфий производит род опьянения, во время которого умственная работа — на краткое время — происходит быстрее, энергичней. Иные, поэтому, привыкают к впрыскиваниям морфия, как пьяница к вину. Эта привычка становится болезнью, морфинизмом, и, постепенно ослабляя мозг, делает человека почти идиотом.

новится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает, наконец. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке больше уж негде слышать тех слов, да и некому произносить их, так как ветра не слышно, а я собираюсь в Петербург — надолго, должно быть навсегда.

Как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями . . . Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной и, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо . . . Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо . . . Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у нее становится грустным, грустным, по щеке ползет слеза . . . И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса:

— Я люблю вас, Надя!

Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая.

А я иду укладываться . . .

Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем; ее выдали, или она сама вышла — это все равно, за секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до нее слова „Я вас люблю, Наденька“, не забыто; для нее теперь это самое счастливое и прекрасное воспоминание в жизни . . .

А мне теперь, когда я стал старше, уже не понятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил . . .

Approved by  
U.N.R.R.A. Team 168

**Содержание:**

	стр.
<u>Л. Андреев</u>	
Молчание . . . . .	3
<u>И. Бунин</u>	
Косцы . . . . .	15
Пост . . . . .	19
Преображение . . . . .	21
<u>М. Горький</u>	
Песня о соколе . . . . .	25
<u>В. Короленко</u>	
Старый звонарь . . . . .	30
<u>А. Куприн</u>	
Одиночество . . . . .	35
Куст сирени . . . . .	43
<u>К. Станюкович</u>	
Между своими . . . . .	49
<u>А. Чехов</u>	
Шуточка . . . . .	61